

М. Гершензон

Жизнь В. С. Печерина

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
М11

М11 **М. Гершензон**
Жизнь В. С. Печерина / М. Гершензон – М.: Книга по Требованию, 2014. –
230 с.

ISBN 978-5-458-61279-1

ISBN 978-5-458-61279-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2014

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2014

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

татъ его пустымъ шалуномъ, прощалъ ошибки и рассказы-
валъ эпизоды 93 года и исторію своего бѣгства изъ Франціи,
когда «развратные и плуты взяли верхъ». Къ этому типу
принадлежалъ, повидимому, и гувернеръ Печерина. Онъ
не могъ не полюбить своего пылкаго, одареннаго живой
фантазіей ученика, и вѣроятно въ пламенныхъ рѣчахъ
завѣщалъ ему непримиримую ненависть къ деспотизму,
училъ его гражданскому героизму и любви къ свободѣ по
Плутарху, и, можетъ быть, ему самому, этому богато ода-
ренному мальчику, слушавшему его съ горящими глазами,
пророчилъ, какъ Роммъ Строгонову, великую будущность
въ первомъ ряду борцовъ за процвѣтавшую въ древности,
нынѣ поправленную свободу. А грубый гнетъ отцовской муштры
дѣлалъ впечатлительную душу мальчика еще болѣе вос-
примчивой для радикальныхъ идей учителя.

Мы не знаемъ, гдѣ Печеринъ получилъ первоначальное
образованіе. Въ 1829 году онъ уже въ Петербургѣ, сту-
дентомъ филологическаго факультета.

Что представлялъ собою петербургскій университетъ въ
концѣ 20-хъ и началѣ 30-хъ годовъ, до преобразованія его
по уставу 1835 года, это довольно хорошо извѣстно изъ
воспоминаній Никитенка и другихъ. Самъ Печеринъ позднѣе
писалъ: «Когда теперь припоминаю тогдашній петербургскій
университетъ, то такъ и руки опускаются. Вѣдь дѣйстви-
тельно никакое самостоятельное развитіе не было возможно.
Въ преподаваніи не было ничего серьезнаго: оно было ужасно
поверхностно, мелко, пошло. Студенты заучивали тетрадки
профессоровъ, да и самъ профессоръ преподавалъ по те-
традкамъ, имъ же зазубреннымъ во время оно». В. Гри-
горьевъ, ставшій студентомъ въ 1831 году, рассказываетъ *),
что заучиваніе требовалось дословное и что большинство
профессоровъ бывало недовольно, если слушатель на репе-

*) В. Григорьевъ, *Т. Н. Грановскій до его профессорства въ Москвѣ*. «Рус.
Бес.» 1856, кн. III. Для дальнѣйшаго—О. Фортунатовъ, *Воспоминанія о
С.-Петербург. унив. за 1830—33 годы*. «Р. Арх.» 1869, № 2.

тиціяхъ отвѣчалъ собственными словами. Почти все время студентовъ уходило на слушаніе и записываніе лекцій, читавшихся не только утромъ, но и послѣ обѣда. Курсъ историко-филологическаго факультета ограничивался богословіемъ, древними и новыми языками, словесностью, исторіей и статистикой; философія и политическая экономія принадлежали къ юридическому факультету, а теорія изящныхъ наукъ и археологія филологамъ не читались за недостаткомъ преподавателей. Древніе языки, составлявшіе главный фондъ факультетской науки, преподавались по-гимназически: проф. Поповъ томилъ студентовъ переводами съ греческаго на латинскій и латинскимъ перифразомъ, восклицая поминутно: «*polite negligere grammaticam Butmani*» (имъ же переведенную на русскій языкъ), Соколовъ одно полугодіе питалъ и поилъ ихъ греческой грамматикой, заставляя переводить съ греческаго на русскій и латинскій грамматическія упражненія и міеологическіе рассказы въ 1-й части хрестоматіи Якобса, а во второмъ полугодіи читалъ съ ними отрывки изъ Геродота и Гомера по 2-й и 4-й частямъ той же хрестоматіи. Русскій языкъ и словесность на 3-мъ курсѣ читалъ Толмачевъ, внѣдрявшій въ студентовъ этимологическую премудрость. Образчикомъ его патріотическаго корнесловія можетъ служить производство слова *хлѣбъ* на разныхъ языкахъ: сначала, говорилъ онъ, когда мѣсятъ *хлѣбъ*, дѣлается хлябъ — отсюда наше *хлѣбъ*; эта хлябъ начинаетъ бродить, отсюда нѣмецкое *Brod*; перебродивши, хлябъ опадаетъ на-низъ, отсюда латинское *panis*; затѣмъ поверхъ ея является пѣна, отсюда французское *pain*. *Кабинетъ* онъ производилъ отъ словъ *какъ бы нѣтъ*, поясняя: человекъ, который удаляется въ кабинетъ, какъ бы нѣтъ. «Честь и украшеніе» факультета составлялъ академикъ Грефе, выписанный изъ Лейпцига, ученый другъ мниваго себя латинистомъ гр. С. С. Уварова; онъ читалъ на высшемъ курсѣ латинскій и греческій языки, оба по-латыни. Узкій специалистъ-филологъ, великій мастеръ по части стилистическаго коммен-

тарія и конъектуръ, онъ также не могъ способствовать умственному развитію студентовъ, но по крайней мѣрѣ могъ дать серьезную научную подготовку тѣмъ изъ нихъ, у кого обнаруживались охота и способности къ изученію древнихъ языковъ. Однимъ изъ такихъ студентовъ оказался Печеринъ. Замѣчательныя филологическія способности уже въ половинѣ университетскаго курса обратили на него вниманіе Грефе. Повидимому, и Печеринъ высоко цѣнилъ своего учителя и ревностно занимался подъ его руководствомъ; въ позднѣйшемъ (1869) отрывкѣ изъ своихъ воспоминаній онъ говоритъ: «Мнѣ казалось, что мы съ нашимъ академикомъ Грефе звѣзды съ неба снимаемъ» *).

Эпоха, когда юный Печеринъ со своими мечтами о борьбѣ противъ деспотизма попалъ въ Петербургъ, принадлежитъ къ самымъ мрачнымъ періодамъ русской исторіи за XIX вѣкъ. Послѣ подавленія декабрьскаго мятежа русское общество какъ бы вдругъ оцѣпенѣло; всякая духовная жизнь замерла подъ гнетомъ желѣзной руки, и утопическія мечты, еще тлѣвшія въ немногихъ умахъ, должны были постепенно угаснуть среди безнадежной дѣйствительности. Общество было запугано, его жизнь наполнилась мелочными, пошлыми интересами, а тѣ немногіе, которые задыхались въ этой атмосферѣ, т.-е. лучшая часть молодежи,—бросались въ эстетику, жили поэзіей Шиллера и театромъ. Въ томъ же отрывкѣ 1869 года Печеринъ такъ характеризуетъ состояніе общества и свое собственное наканунѣ французской революціи 1830 года: «Бури улеглись (онъ разумѣетъ возстаніе 14-го декабря), настала какая-то глупая тишина, точно штиль на морѣ. Въ воздухѣ было ужасно душно, все клонило ко сну. Я, дѣйствительно, начиналъ уже дремать». Это значитъ, безъ сомнѣнія, что революціонный пылъ въ немъ ослабѣлъ,—онъ начиналъ забывать уроки либерализма, предпо-

*) Этотъ отрывокъ, посвященный воспоминаніямъ Печерина о баронессѣ Ровенкампфъ (*Эпизодъ изъ Петербургской жизни*), помѣщенъ въ *Рус. Арх.* 1870 г.

данные ему гувернеромъ. «Мнѣ грезился какой-то вздоръ, какое-то *счастье*: жить въ уединеніи съ Греками и Латинами и ни о чемъ болѣе не заботиться».

Если онъ не заснулъ тогда совсѣмъ, этимъ—по его собственному признанію—онъ былъ обязанъ слѣдующему обстоятельству. Попечитель Бороздинъ, которому онъ очевидно былъ рекомендованъ профессоромъ Грефе, призвалъ его къ себѣ и предложилъ помогать барону Розенкампу въ его работѣ по изданію Кормчей книги, взамѣнъ чего освободилъ его отъ слушанія нѣкоторыхъ лекцій. Это было, по всей вѣроятности, въ 1829 или 30 году; очевидно, молодой студентъ уже обратилъ на себя вниманіе, какъ способный и знающій классикъ.

Его работа состояла въ томъ, чтобы переписать изъ древней рукописи греческій текстъ Іоанна Схоластика (извлеченіе изъ Новеллъ Юстиніана), привести en regard славянскій переводъ его изъ рукописи XIII вѣка, а подъ строкой латинскій, сличить основной текстъ съ другими редакціями и наконецъ описать самую рукопись. Работа Печерина составила одно изъ приложений во 2-мъ изданіи (1839 г.) «Обозрѣнія Кормчей книги» барона Г. А. Розенкампа. Предисловіе Розенкампа къ этому приложенію кончается такими словами: «Надъ составленіемъ сего приложенія трудился Владиміръ Сергѣевичъ Печеринъ, молодой филологъ, образующійся въ С.-Петербургскомъ университетѣ и подающій хорошія о себѣ надежды» *).

Въ упомянутомъ выше отрывкѣ Печеринъ художественно воспроизвелъ этотъ эпизодъ изъ своей студенческой жизни.

«Гдѣ-то, кажется, на Большой Садовой», рассказываетъ онъ **), «былъ большой деревянный домъ довольно ветхой наружности. Тутъ жилъ баронъ Розенкампфъ.

*) Проф. Евг. Бобровъ, «Литература и просвѣщеніе въ Россіи XIX в.», т. I, стр. 111.

**) Рус. Арх. 1870. Мнѣ неизвѣстно, съ какой рукописи печатался этотъ отрывокъ въ «Рус. Арх.». У меня былъ подлинникъ его, сообщенный

«Каждое утро, въ 8-мъ или 9-мъ часу я являлся въ его кабинетъ и садился за свою работу. Это была прекрасная рукопись изъ Императорской Публичной библіотеки, X-го или XI-го вѣка. Сколько я надъ нею промечталъ! Я воображалъ себѣ бѣднаго византійскаго монаха въ черной рясѣ. Съ какимъ усердіемъ онъ заполироваль и разграфиль этотъ пергаментъ! Съ какою любовью онъ рисуетъ каждое слово, каждую букву! А между тѣмъ вокругъ него кипитъ безтолковая жизнь Византіи, доноски и шпіоны снуютъ взадъ и впередъ; разыгрываются всевозможныя козни и интриги придворныхъ евнуховъ, генераловъ и іерарховъ; народъ, за неимѣніемъ лучшаго упражненія, тѣшится на ристалищахъ; а онъ, труженикъ, сидитъ да пишетъ... «Вотъ», думалъ я,— «вотъ единственное убѣжище отъ деспотизма! Запереться въ какой-нибудь кельѣ, да и разбирать старыя рукописи!»

«Около четвертаго часа являлся старый, бѣлый, какъ лунь, парикмахеръ и окостенѣвшими пальцами причесываль и завиваль посѣдѣлыя кудри барона. Послѣ этого туалета баронъ вставаль, бралъ меня за руку, и мы отправлялись на половину баронессы къ обѣду.

«Баронесса Розенкампфъ была женщина лѣтъ за сорокъ или болѣе. Она была очень блѣдна и какое-то облако грусти висѣло на ея челѣ; но видны еще были слѣды прежней красоты. Она, говорятъ, блистала при дворѣ Александра I. Баронъ занималь важное мѣсто: онъ, кажется, былъ предсѣдателемъ законодательной комисіи. Но съ воцареніемъ Николая они попали въ немилость и жили тогда въ совершенномъ уединеніи, оставленные и забытые прежними друзьями и знакомыми. Такъ, разумѣется, и быть должно.

«Въ гостиной стоялъ великолѣпный рояль подъ зеленымъ чехломъ; но баронесса никогда до него не дотрогивалась. На стѣнахъ были развѣшены произведенія ея кисти, кар-

тины, бывшія нѣкогда на выставкѣ (между прочимъ я помню одинъ прекрасный Francesco d'Assisi); но эти картины были задернуты какимъ-то траурнымъ крепомъ. Баронесса все покинула, все забыла—и живопись, и музыку. Она даже не хотѣла глядѣть на эти предметы, напоминавшіе ей лучшее былое. Ея гордая душа вполне понимала смыслъ этихъ словъ Данта: *Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria!*

«Въ этомъ опальномъ домѣ господствовала оппозиція. Всѣ дѣйствія новаго правительства были безпощадно порицаемы. Когда мы читали въ «*Journal des Débats*» о первыхъ неудачахъ русскаго оружія въ Польшѣ, баронъ качалъ головою и говорилъ: «Вотъ видите ли—такъ и выходитъ, что Гораций сказалъ правду: *vis consilii experts mole ruit sua!*»

«Рѣдко кто заходилъ въ этотъ «брошенный забвенью» домъ; развѣ только иногда бывало зайдетъ А. Х. Востокъ по какимъ-нибудь справкамъ для Кормчей Книги. Только однажды, я помню, было нѣчто въ родѣ званого обѣда. Приглашены были старые друзья барона: пасторъ англійской церкви D-r Law, португальскій консулъ, да еще кто-то третій. По случаю этого обѣда баронесса немножко принарядилась, поддурманилась, ея блѣдныя щеки оживились—она была очень мила, такъ что я почти въ нее влюбился. Надобно знать, что, въ качествѣ петербургскаго юноши, я считалъ своимъ священнѣйшимъ долгомъ влюбляться во всякую хоть сколько-нибудь пригожую женщину.—А она меня дѣйствительно полюбила чистѣйшею материнскою любовью и горячо принялась за мое воспитаніе. «Ахъ! какъ жалко», говорила она, «какъ жалко, что въ Петербургѣ нѣтъ средствъ для развитія молодого человѣка!» Я этимъ ужасно какъ обидѣлся. Мнѣ казалось, что мы съ нашимъ академикомъ Грефе звѣзды съ неба снимаемъ...

«Баронесса принадлежала къ чисто-романтической школѣ и ея идоломъ былъ Гете. У нея была прекрасная нѣмецкая бібліотека, изъ которой она ссужала мнѣ книги. «Вотъ вамъ

Wilhelm Meisters Lehrjahre,» сказала она однажды: «увѣряю васъ, что нѣтъ лучшей книги для окончательнаго развитія молодого человѣка»...

Знакомство съ Розенкампами и особенно вліяніе баронессы оказались для Печерина прямымъ продолженіемъ уроковъ швейцарца-гувернера, правда, не столько въ смыслѣ политическаго радикализма, сколько въ смыслѣ высокаго представленія о человѣческомъ достоинствѣ, о духовной независимости и чистотѣ личной жизни. Въ этомъ домѣ царили оскорбленная гордость и печаль; пошлости здѣсь не было мѣста. Эта чистая и строгая, въ своемъ родѣ очень культурная атмосфера должна была благотворно вліять на впечатлительнаго юношу, а общеніе съ баронессою, ея наставленія, руководство въ чтеніи, безъ сомнѣнія, облагораживали его вкусы и способствовали его умственному развитію. Позднѣе Печеринъ называлъ баронессу своею спасительницею: «Она рѣшительное на меня имѣла вліяніе. Она окончила мое воспитаніе».

Разумѣется, революціонный энтузіазмъ Печерина—не смотря на «оппозицію», господствовавшую въ домѣ Розенкамповъ—не находилъ себѣ здѣсь пищи, и въ этомъ смыслѣ Печеринъ, убаюкиваемый романтизмомъ баронессы, «начиналъ уже дремать»—мечталъ найти убѣжище отъ деспотизма въ уединенной кельѣ, за старыми рукописями. «Но вдругъ,—пишетъ онъ,—раздался громовой ударъ, разразилась гроза іюльской революціи. Воздухъ освѣжѣлъ—все проснулись—даже и казенные студенты. Да и какъ еще проснулись! Словно духъ святой снизошелъ на нихъ. Начали говорить какимъ-то новымъ, дотолѣ неслыханнымъ языкомъ: о свободѣ, о правахъ человѣка, и пр. и пр. Да чего ужъ тутъ не говорили! Даже Николаю приписывали либеральныя стремленія! Рассказывали, что когда пришло извѣстіе о паденіи Карла X-го, государь позвалъ наслѣдника и сказалъ ему: «Вотъ тебѣ, мой сынъ, урокъ! ты видишь теперь, какъ наказываются цари, нарушающіе свою присягу».

И мы этому добродушно вѣрили. Sancta simplicitas!—Съ тѣхъ поръ я болѣе уже не засыпалъ».

Мы сейчасъ увидимъ, гдѣ слышалъ и велъ эти рѣчи о свободѣ и правахъ человѣка молодой Печеринъ; но предварительно надо сказать, что въ февралѣ 1831 года онъ блестяще окончилъ университетъ, одинъ изъ всего выпуска со степенью кандидата. Къ этому времени, повидимому, закончилась и его работа у бар. Розенкампа, который вскорѣ затѣмъ (въ апрѣлѣ 1832 г.) умеръ *).

II.

„Желаніе лучшаго міра“.

Начало тридцатыхъ годовъ было кануномъ того умственного движенія, которое позднѣе, къ концу этого десятилѣтія, опредѣлилось какъ философскій идеализмъ. Въ первой своей стадіи—въ 1830—34 годахъ—оно носило ту форму, которая и вообще присуща юношескому возрасту, а въ данный періодъ съ особенной силой обуславливалась и духомъ времени,—форму романтической мечтательности. Въ 1834 году Никитенко писалъ въ своемъ дневникѣ, что подъ давленіемъ жестокаго политическаго гнета всѣ благородныя чувства молодого поколѣнія роковымъ образомъ превратились въ мечты, лишеныя всякаго практическаго значенія. Дѣйствительно, духовная энергія лучшей, идеалистически-настроенной части молодежи тратилась на восторженное, прекраснодушное волненіе въ атмосферѣ крайне туманнаго идеализма. Ближайшимъ образомъ это явленіе объясняется, конечно, невыносимыми условіями тогдашней дѣйствительности, осуждавшей на полную безнадежность всякое стремленіе воплотить въ жизни даже элементарнѣйшіе запросы развитого общественнаго сознанія. Но главной причиною была,

*) Рус. Арх. 1879, III, стр. 422 прим.

безъ сомнѣнія, та, которую такъ вѣрно опредѣлилъ Д. Н. Овсяннико-Куликовскій *), — та восторженная чувствительность, которая составляла основную черту «психологическаго типа» людей 30-хъ годовъ. Поколѣніе, увидѣвшее свѣтъ около 1810 года, т.-е. сверстники Печерина, въ молодости своей являютъ зрѣлище столь бурной экзальтации, какой мы не видимъ ни въ одномъ изъ предшествовавшихъ или слѣдовавшихъ за нимъ поколѣній. На почвѣ этой экзальтации складывался юношескій идеалъ людей 30-хъ годовъ. Это была возвышенная мечта о нерасторжимой связи между человѣкомъ и космосомъ, о красотѣ, наполняющей космосъ, о божественномъ достоинствѣ человѣческой личности, о долгѣ сохранять въ себѣ незапятнанной эту божественную сущность и содѣйствовать ея проявленію во всемъ человѣчествѣ. Какъ само собою понятно, этотъ идеалъ былъ чуждъ всякой національной окраски. Въ политической области онъ порождалъ временами чисто-платоническую ненависть къ деспотизму и восторженное обожаніе свободы, но и то, и другое въ ту пору носило вполне космополитическій характеръ. Эти юноши, какъ вспоминалъ позднѣе Герценъ, со всѣмъ огнемъ любви жили въ сферѣ общечеловѣческихъ вопросовъ, придавъ имъ субъективно-мечтательный цвѣтъ.

Естественно, что оракуломъ этой пылкой молодежи долженъ былъ стать Шиллеръ, этотъ призванный глашатай юношески-восторженного и туманнаго идеализма, поэтъ-космополитъ, зовущій въ бой противъ тирановъ. Онъ дѣйствительно былъ ихъ кумиромъ, какъ свидѣлствуютъ тогдашнія письма Станкевича, Бѣлинскаго, Огарева, Герцена и др. Герценъ рассказываетъ, что онъ и Огаревъ разбирали, любили и ненавидѣли лица шиллеровскихъ драмъ не какъ поэтическіе образы, а какъ живыхъ людей, — мало того, видѣли въ нихъ самихъ себя: «мой идеалъ былъ Карлъ Моръ, но я вскорѣ измѣнилъ ему и перешелъ въ маркиза Позу»

*) «Исторія рус. интеллигенціи», т. I.

«Resignation» Шиллера, по словам Анненкова, была у Станкевича на умѣ и на языкѣ почти безпрестанно. Въ какомъ направленіи вліялъ на нихъ Шиллеръ, можно видѣть изъ позднѣйшаго (1839 г.) показанія Бѣлинскаго, что «Разбойники», «Коварство и любовь» и «Фіэско» породили въ немъ вражду къ общественному порядку во имя абстрактнаго идеала общества—идеала, оторваннаго отъ всякихъ географическихъ и историческихъ условій. Ихъ напряженная мечтательность питалась и, вмѣстѣ, отравлялась Шиллеромъ. То, что для нихъ было только надеждою, сладкой мечтою, явно неосуществимой, но безъ которой они не могли жить,—то Шиллеръ провозглашалъ непреложнымъ закономъ. Жизнь мрачна, безрадостна, произволъ и насиліе царятъ на землѣ,

И куда печальнымъ окомъ
Тамъ Церера ни глядитъ—
Въ униженіи глубоко
Человѣка всюду зреть;

но не смущайся видимымъ: знай и вѣрь, что подлинный образъ человѣка божественно прекрасенъ и что радость—законъ бытія. Въ этой убѣжденной вѣрѣ—сущность поэзіи Шиллера и секретъ ея обаянія: Для юношей 30 годовъ она являлась какъ бы деклараціей неотъемлемыхъ правъ человѣка. Они жадно впитывали въ себя и это царственное презрѣніе къ эмпирической дѣйствительности, и эту непоколебимую увѣренность, что свобода, красота и счастье составляютъ единственную подлинную реальность въ мірѣ.

Такъ крѣплъ ихъ идеализмъ на Шиллерѣ—и такъ отчуждались они отъ жизни. Они нечувствительно приучались ставить поэтическія созданія на одну плоскость съ насущной дѣйствительностью и вслѣдствіе того требовать отъ послѣдней тѣхъ конкретныхъ чертъ, въ какія поэтъ облекъ свой идеалъ. Это очень обыкновенная ошибка, постоянно наблюдаемая въ отношеніи молодости къ романтическому элементу въ искусствѣ. Такое незаконное смѣшеніе реальнаго въ высшемъ смыслѣ съ эмпирическимъ представляетъ собою